

Елена
Арсеньева

Блистательные
изгнанницы



Исторические
новеллы
Любви

Блистательные изгнанницы

Елена Арсеньева

**Возвращение в никуда
(Нина Кривошеина)**

«Автор»

Арсеньева Е. А.

Возвращение в никуда (Нина Кривошеина) / Е. А. Арсеньева —
«Автор», — (Блистательные изгнанницы)

ISBN 5-699-09962-X

Великая и прекрасная Россия, в которой эти женщины родились, осталась лишь в воспоминаниях и мечтах... В реальности же им, убежавшим от новых порядков страны, принять которые они не смогли, родиной стала чужбина. Но и там, где пришлось начинать все сначала, не имея ничего, кроме высоких титулов, эти изгнанницы оставались блистательными и неподражаемыми. Великая княгиня Мария Павловна – двоюродная сестра последнего российского императора Николая II, балерина Тамара Карсавина, героиня французского Сопротивления княгиня Вера Оболенская... Об их непростых судьбах и пойдет речь в книге исторических новелл Елены Арсеньевой...

ISBN 5-699-09962-X

© Арсеньева Е. А.

© Автор

Содержание

От автора	5
Возвращение в никуда	6
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Елена Арсеньева

Возвращение в никуда

Нина Кривошеина

От автора

Безумный, безрассудный ураган сметает все на своем пути, вырывая из земли и пышные садовые цветы, и скромные полевые цветочки, и влечет их неведомо куда, за горы, за моря, швыряет на убогую, чужую почву. И улетает дальше, оставив эти несчастные, истерзанные растения погибать. Но вот какому-то цветку удалось зацепиться корнем за землю-мачеху... а там, глядишь, приподнял голову и второй, да и третий затрепетал лепестками... Они ужасаются, они отчаиваются, они зовут смерть, потому что жизнь кажется им невыносимой. Однако они вырастают в чужбину, живут, живут... и сами дивятся: как же это возможно после того, что они испытали, что они потеряли?

У них больше нет ни дома, ни страны. У них все в прошлом. Вот уж воистину, совершенно как в модном романсе – все сметено могучим ураганом! Пора забыть прежние привычки, громкие имена и титулы, вековую гордыню, которая уверяла их в том, что они – соль земли, смысл существования тех миллионов простолюдинов, которые вдруг обезумели – и вмиг превратили спокойное, процветающее государство, называемое Российской империей, в некое вместилище ужаса, боли и страданий. Здесь больше нет места прежним хозяевам жизни. Титулованные дамы, представительницы благороднейших родов Российской империи; знаменитые поэтессы; дети ведущих государственных деятелей; балерины, которых засыпали цветами, которым рукоплескали могущественные люди страны; любовницы именитых господ – они вдруг сделались изгнанницами. Блистательными, вернее сказать: некогда блистательными! – изгнанницами. И нет ни времени, ни смысла надеяться на чудо или ждать помощи от мужчин. Просто потому, что чудес не бывает, а мужчины... им тоже надобно бороться за жизнь.

В этой борьбе женщинам порою везло больше. Прежняя жизнь была изорвана в клочья, словно любимое старое платье, а все же надобно было перешить ее, перелицевать, подогнать по себе. Чисто женское дело! Некоторым это удавалось с блеском. Другим – похуже. Третьи искололи себе все пальцы этой роковой игрой, но так и не обрели успокоения и удачи.

Их имена были гордостью Российской империи. Их родословные восходили к незапамтным временам. В их жилах струилась голубая кровь, это была белая кость – благородные, образованные, высокомерные красавицы. Они нищенствовали, продавали себя, работали до кровавого пота ради жалких грошей. Они ненавидели чужбину – и приспособливались к ней. Они ненавидели покинутую родину – и боготворили ее. За нее они молились, на нее уповали... умирали и погибали с ее именем на устах.

Русские эмигрантки.

Блистательные изгнанницы.

Отвергнутые Россией...

Возвращение в никуда Нина Кривошеина

Около моста Пон-Неф всегда продавали жареные каштаны. Как раз на повороте с набережной де Лувр стоял subtilный паренек, прятывший нос в большущий черно-желтый клетчатый шарф, и ворошил лопаточкой кучку румяных каштанов, лежащих на большой жаровне. Сизый дымок струился над улицей, пахло сладко, горьковато, душно... непередаваемо. Так пахнут только парижские жареные каштаны. Поджаренные разносчиком, который стоит на углу Пон-Неф...

– Изо всех сил стараюсь убедить себя, что ем печеную картошку, – проворчал Игорь. – И никак не получается. Что ты в них находишь?

И насмешливо посмотрел на жену, которая нюхала разломленный каштан. Глаза у нее были зажмурены от наслаждения.

– Мама, у тебя нос в саже, – засмеялся Никита. Он тоже не любил жареные каштаны, хотя родился и рос в Париже.

– Хочешь, я тебе лучше розу куплю? – предложил Игорь.

Нина покачала головой.

Разносчик между тем насыпал каштаны в кулечек. Кулечек был преступно мал, туда помещалось пять или шесть каштанов, а стоила эта ерунда безобразно дорого – пятьдесят сантимов. Зато без карточек!

– Ну, пошли, что ли? – сказал Игорь, беря жалконький кулек. – Хватит ностальгировать! У нас все не как у людей. Когда мой кузен побывал в 1913 году в Париже, он потом нарочно жарил каштаны в камине, чтобы только услышать этот вот аромат и вспомнить, как он покупал их возле Пон-Неф. А ты...

– А я, – подхватила Нина, – нарочно покупаю каштаны у моста Пон-Неф, чтобы вспомнить, как они пахли, когда мой дядюшка Николай Николаевич жарил их в камине... там, в Сормове, в нашем доме.

– Как же вы доставали каштаны из камина? – спросил Никита. – Там ведь огонь.

Никита был рассудительный мальчик.

– Мы их брали особыми щипцами, – сказала Нина. – Это было очень интересно и необычно. Мы с сестрой вообще любили, когда дядя Коля приезжал. Он ведь был артиллерийский офицер и столько интересного рассказывал... Когда он появлялся, нам разрешали подольше не ложиться и слушать взрослые разговоры.

– И на белку смотреть? Расскажи, как вы на белку смотрели!

– Наша мадемуазель Эмма, гувернантка, – послушно завела Нина, – привезла с собой удивительную клетку с колесом, в которой жила ее любимая белка Белла-Белла. Клетка стояла в нашей детской столовой, и я помню, как любовалась бегающей в колесе белочкой, – мне казалось, что в этом было что-то сверхъестественное, что это особая белка, а другие не умели бы так шибко бежать в круглом проволочном барабане.

Никита слышал про белку раз сто, уж не меньше. Но ему никогда не надоедала эта история. Иногда Нина возила сына на блошинный рынок, посмотреть зверушек. Там они несколько раз видели белок, бегающих в колесе. И все равно – оба продолжали пребывать в уверенности, что *та* белка бегала быстрее! Ведь это было в России.

– Мама, расскажи про дом, в котором ты жила, – попросил Никита, когда они снова шли по набережной Лувра, мимо лотков букинистов.

Покупателей среди дня было совсем немного. Иногда мелькали затянутые в форму фигуры немецких офицеров, при виде которых все еще брала оторопь, хотя Париж был оккупирован уже несколько месяцев, пора бы и привыкнуть.

Впрочем, *к такому* невозможно привыкнуть.

– Мама, расскажи! – канючил Никита.

Игорь и Нина переглянулись. Они старались разговаривать с сыном по-русски, чтобы он привыкал к языку, да и сами ни за что не собирались от него отвыкать, хотя той, прежней России, о которой они рассказывали Никите, уже и в помине не было. Но говорить по-русски в 1940 году, в сердце оккупированного Парижа... И Нина заговорила по-французски, с трудом подбирая слова. Не потому, что она плохо знала язык – невозможно плохо знать язык, который учила с раннего детства и на котором последние пятнадцать лет говоришь непрерывно, – просто красивые, летучие французские слова казались такими чужими и неуклюжими, когда в них приходилось облекать закаты над Волгой, и шум дубравы, и голос Сормовского завода, и скрип ступенек старенького крылечка...

Директорский дом, в котором они тогда жили, вообще был старый, деревянный, с крытым крыльцом, сенями и, конечно, с мезонином. Внизу было восемь комнат, из них три поменьше – для детей, плюс большой игровой и гимнастический зал в мезонине. Большая столовая внизу была просторная, длинная – на Пасху или под Новый год там помещалось более шестидесяти приглашенных. Но самой приятной комнатой был кабинет отца. Там, на большом письменном столе, стоял телефон, на полу лежали две медвежьи шкуры, на которых детям иногда разрешалось играть, что было превесело и создавало совсем особое настроение, но главное – там был громадный камин. Он часто горел по вечерам, и это было так чудесно, что Нину и ее сестру было просто невозможно увести спать.

Мадемуазель Эмма сердилась: ведь надо перед сном еще накрутить волосы на папильотки! Девочки ненавидели папильотки: волосы на них накручивались пребольно, а утром свершался особый обряд – сниманье папильоток и навиванье локонов на гладкую полированную палку. С ее помощью наверху головы закручивался крутой «кок», в который продергивался бант в виде бабочки, а локоны в строгом порядке распределялись вокруг головы и вдоль щек. Именно так, по мнению мадемуазель Эммы, и должны были выглядеть дочери столь важного лица, каким был директор Сормовского завода Алексей Павлович Мещерский. Конечно, жизнь громадного завода, с его особыми звуками, уханьем, толчками тяжелого молота, гудком утром в семь часов, с чудной музыкой волжских пароходов и их глубоких голосов, была только фоном детства Нины. Она тогда не вполне понимала, что за человек был ее отец.

Фамилия Мещерских в России была знаменита и имела несколько ветвей. Род исчислялся с XIII века и происходил от хана Беклемиша (так же как и род Беклемишевых), однако *эти* Мещерские титула не носили. Было некое семейное предание, которое Нина слышала еще в детстве. Будто при императоре Павле I ее прапрадед, князь Мещерский, служил в гвардии, жил в Петербурге и завел роман с некой французской актрисой. Она будто была в фаворе у императора, и он, узнав о ее измене и романе со скромным гвардейским офицером, повелел того разжаловать и сослать в Сибирь. Когда Павел I скончался, этот предок вернулся из ссылки, женился на своей актрисе, однако княжеский титул ему возвращен не был. Дворянство с окончанием ссылки возвращалось, но о восстановлении титула ни он, ни его сын не хлопотали – так оно и осталось. Правда это было или нет, Нина да и отец ее не знали, однако история была красивая, а потому ее с удовольствием приняли к сведению и сочли правдой.

Отсутствие титула при столь известной фамилии мало смущало Мещерских: ведь были и Толстые, и Оболенские без титулов, были Кочубеи с титулом – и без него. Правда, на танц-классах или позже на танцевальных вечерах, даже на прогулках или на катке в Таврическом саду приходилось порою объяснять незнакомым кавалерам: «Я не княжна, вы ошибаетесь!»

Нину и ее сестру отсутствие титула не слишком смущало, однако некоторых новых знакомых такое известие явно разочаровывало: ведь старая дворянская Россия, где титул открывал многие двери, тогда удивительно уживалась с новой Россией, где дворянство как правящий класс уже изжило себя и где начинало уже процветать совсем иного состава общество – то, которое принято называть «буржуазным».

Алексей Павлович Мещерский вполне к этому обществу принадлежал. Окончив военный корпус, он вдруг решил, что боевая карьера не для него, и пошел в Петербургский Горный институт. Во время одной из практик в Екатеринбурге встретил свою будущую жену, Веру Николаевну Маламу. Первое место инженера Мещерский получил на Богословском заводе на Урале, около Старого Тагила, а потом ему сделали предложение стать директором Сормовского завода. И Мещерские стали жить в Сормове, где Алексей Павлович решительно начал перестройку заводской жизни. Завод давал плохую продукцию, хирел. Новый директор ввел строгую дисциплину, поднял экономику завода, заставил не только рабочих, но и всех инженеров работать сполна, с интересом и считать, что работа и ее успех – главное в их жизни. Он сам появлялся на заводе не позже половины девятого утра, а частенько и ровно в восемь бывал в том цеху, где что-то не ладилось. Он всегда ходил по заводу пешком, следил за тем, чтобы полочка выдавалась всем вовремя и аккуратно (что до него не было заведено), сидел в заводской конторе до позднего вечера... И через два-три года вся жизнь на Сормове переменялась. Скажем, в 1903 году паровоз Сормовского завода получил золотую медаль на выставке в Париже, а это настоящая сенсация.

Рабочие, впрочем, первое время не понимали, что директору надо и почему надо. Жили они бедно и плохо, почти все в знаменитом Канавине, поселке, близком к Сормову. Политические агитаторы быстро взяли нового директора на мушку, Горький, который сотрудничал в «Нижегородском листке», называл его извергом, кровопийцей, тираном. А между тем за четыре или пять лет директорства Мещерский не только сумел поставить Сормовский завод в ряды первых в стране, улучшить работу и жизнь рабочих, но и построил им зал на тысячу человек для всякого рода представлений, перестроил старые цеха, сменил старые станки и (как и на всех заводах, где позже был распорядителем) выстроил большой храм...¹

В 1905 году он получил от семьи Струве предложение стать директором-распорядителем Коломенского завода, и семья переехала в Петербург. Ровно через год отец соединил в одно акционерное общество Коломну-Голутвин с Сормовом и стал во главе этого, можно сказать, концерна. Потом к нему присоединились заводы Выксинский и Белорецкий. В 1909–1910 годах Мещерский стал членом правления Волжского пароходства, принадлежавшего семье миллионеров Меркуловых.

Постепенно Мещерский стал богатым человеком, потом и чрезвычайно богатым. Он и сам являлся акционером многих предприятий, а когда был основан в Петербурге Международный банк, оказался одним из его директоров. При этом Алексей Павлович сразу поднялся в разряд крупных капиталистов, банкиров: вошел в группу лиц, которые были ненавистны многим, начиная от революционеров всех окрасок и кончая некоторыми дворянскими кругами России. Нина отлично помнила, как мать причитала: «Ты стал банкиром, это ужасно, я не могла такого предвидеть!» – хотя спокойно относилась к той роскоши, которой была окружена.

Повзрослев, Нина заметила, что между родителями нет ладу, что отец, хоть и любит дочерей, несчастен рядом с их матерью. Но Нине было не до них, потому что она была всецело занята собой. Еще бы! Ведь она была влюблена – влюблена впервые в жизни! Причем влюблена в человека очень даже не простого, а в молодого композитора и пианиста, чье имя уже начинало греметь в Петербурге. Его имя – Сергей Прокофьев.

¹ К слову сказать, этот храм до сих пор стоит в центре Сормова в Нижнем Новгороде.

Он был племянником одного из близких приятелей Мещерских. Нина (ей было тогда четырнадцать лет) с сестрой только вернулись из гимназии, а тут вдруг появился незнакомый молодой человек. Нина была страшно смущена – на полу валялась школьная сумка, она сама была еще в коричневом гимназическом платье и черном переднике, да и на ладони левой руки синело громадное чернильное пятно. Всех познакомили. Нина молча сделала реверанс и подала Прокофьеву руку, старательно пытаясь скрыть левую, с пятном. И потихоньку разглядывала гостя. Тогда Прокофьеву было девятнадцать. Он был высокого роста, очень худощавый и узкоплечий. На первый взгляд лицо его казалось некрасивым, зато светлые серые глаза поражали пристальностью взгляда и каким-то особенным блеском. Нину, привыкшую, что все ее кавалеры всегда были в мундирах (молодые офицеры или студенты), шокировало, что этот молодой музыкант одет в полосатые серые брюки и визитку с белым платком – углом в левом кармашке. И (о ужас!) он был надушен духами «Guerlain»! Но самое кошмарное – уходя, Прокофьев внезапно сказал Нине тихо, но ехидно: «А кляксу на левой руке я отлично видел!» Нине это было очень обидно.

А между тем Прокофьев начал у Мещерских бывать. К нему привыкли, но всегда казалось, что он что-то делает не так, не обычно, и между собой Мещерские его звали «марсианин». Он не любил тратить время зря. Как многие талантливые люди, молодой музыкант обладал громадной работоспособностью: если он свое рабочее расписание не выполнил, то никуда не выходил. А впрочем, он играл иногда в бридж, занимался гимнастикой в обществе «Сокол» и даже сочинил веселый марш, под который гимнасты проделывали свои упражнения. Однако к музыке его тогда относились сложно. Например, как-то на вокзале в Павловске, куда съезжалось много настоящих любителей музыки, он исполнял свой первый концерт для фортепьяно – ему и шикали, и свистали, и кричали: «Это не музыка, а бред!», а другая часть публики безумно аплодировала и вызывала его.

Летом Мещерские уехали на дачу в Гурзуф, и там вдруг появился Прокофьев. И не просто появился, а начал как-то таинственно, незаметно для всех за Ниной ухаживать. Она все лето жила в угаре оттого, что нравилась ему, что кругом все красиво – чудный, сказочный, экзотический Крым, близится начало настоящей «взрослой» жизни... Нина влюбилась. Впрочем, после возвращения в Петербург Сергей появлялся в доме только как учитель музыки – он сам предложил давать Нине уроки музыки. С этих уроков все и пошло. Нину по ее девичьей наивности и самоуверенности не слишком удивляло, что человек, имя которого уже гремело, вот так попросту приходит давать ей уроки. Иногда, уходя, Сергей ее целовал, иногда по вечерам звонил ей по телефону. А летом 1914 года, которое Мещерские проводили в Кисловодске, жил у них в доме месяца полтора, спал на тахте в гостиной, где стояло пианино, и по утрам занимался оркестровкой «Симфонии». Кто тогда в доме знал о какой-то всепоглощающей любви, которая тут вспыхнула? Знала только Нинина сестра Наташа и, кажется, была не очень довольна: она не представляла себе, как это все кончится.

Уроки с Прокофьевым летом оборвались, но иногда он сажал Нину за пианино, заставлял играть какую-нибудь вещь, особенно сонаты Моцарта, и не раз подсаживался к пианино рядом и тут же играл вместе с ней импровизации, как бы свой новый аккомпанемент – второй голос к вещи Моцарта... Получалось чудесно, что-то совсем в новом стиле. Очень может быть, что самому Моцарту понравилось бы. Эти импровизации, конечно, остались незаписанными.

Началась война, и в конце августа Мещерские вернулись в Петербург. Прокофьев уехал еще раньше. Его пока что не призывали, как единственного сына, но многие из молодых людей тогда сразу пошли на войну, а барышни начали записываться в общины сестер милосердия. Старшая сестра Нины окончила двухмесячные курсы Георгиевской общины и стала работать в большом лазарете для нижних чинов при Святейшем синоде. Нина болела, кашляла и по совету врача стала жить в Царском Селе, у двоюродной сестры и ее мужа, но, конечно, часто приезжала в город, а Прокофьев бывал часто в Царском Селе. Осенью он ездил в Италию, где

его встречали как знаменитого уже композитора нового направления. Там Прокофьев познакомился с Дягилевым и Стравинским и впервые вел серьезные переговоры о новом балете для постановки в Париже.

А как же Нинин роман?

Любовь, взаимная, с провалами и высотами, кружила их и мучила. Мечтали уже они и о браке, но Нина так боялась, что надо будет сказать об этом родителям... Боялась: если скажет, ничего хорошего не будет...

Кстати, осенью 1914 года Прокофьев попросил Нину написать слова для романса, а еще найти ему сюжет для оперы или балета. Она была этим предложением очень счастлива, сказала, что будет не «романс», а «портрет», и именно ее. Нина решила написать про «Гадкого утенка» и две недели составляла текст, который как можно лучше выразил бы горестное одиночество утенка. Прокофьев был в восторге от этой вещи, говорил, что они теперь будут вместе работать. И очень скоро это произведение было очень успешно исполнено камерной певицей Жеребцовой-Андреевой в ее концерте. Прокофьев на рукописи нот написал посвящение: «Нине Мещерской».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.